

FLEUR DU MAL

JEG ER METTE



18+

Fleur du Mal

Jeg er Mette

«Автор»

2026

du Mal F.

Jeg er Mette / F. du Mal — «Автор», 2026

Метте ненавидит три вещи: престарелых лордов, слово «высочество» и тайную фотосъёмку. В больнице Суффолка ей досталось всё разом — плюс главный врач, от которого не спасает даже дефибриллятор. Она кардиолог с дипломом Осло, диабетом в кармане и короной под стетоскопом. Кронпринцесса, которая просит звать её просто Метте. Впрочем, здесь не слушают даже просьбы. Письмо с сургучом зовёт её в больницу, которой нет ни в одном справочнике. Подписано — Джонатан Дрейк. Проблема одна: сам Дрейк не помнит, что писал. Больница не пускает к себе двадцать первый век: ни экранов, ни связи, чай — каждые пятнадцать минут, овсянка, к её бешенству, вкусная. А главный врач считает не сигареты, а ваши шаги. Она пришла работать. Осталась — задавать вопросы, которые не задают вежливым людям: зачем он раз в год летит в Осло с коричневым свёртком? Почему в его семейном древе норвежские имена? Ответ дороже короны. А счёт начинается с нуля. Если, конечно, вы не предпочтёте двадцать один процент.

© du Mal F., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Информация для читателя	6
Пролог	7
Письмо с сургучом	8
Пропедевтика	11
Диагноз «заметная»	14
Он не бесил	17
Крапива	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Fleur du Mal

Jeg er Mette

Fleur du Mal

JEG ER METTE

Роман

Осло · Суфолк · наши дни

Роман

Осло · Суфолк · наши дни

Информация для читателя

Жанр. Ироничный готический роман о любви, медицине и родословной тайне. Здесь есть всё, что положено жанру: письмо с сургучом, старинная больница, туман над болотами — и ни капли мистики, только люди, которые слишком долго молчали.

Место и время. Осло и английский Суфолк, наши дни. Но в Суфолк двадцать первый век допускают только по пропуску.

Герои. Метте-Сольвейг — кардиолог с красным дипломом Осло, диабетом в кармане и короной, спрятанной под насадками стетоскопа. Джонатан Дрейк — главный врач больницы, вдовец, человек, который считает не сигареты, а ваши шаги.

О чём это. Её приглашают в больницу, которой нет ни в одном справочнике, — письмом, которое сам главный врач не помнит, что отправлял. В этом месте пахнет воском, а не Wi-Fi, чай подают каждые пятнадцать минут, и овсянка, к её бешенству, вкусная. Через неделю она задаст вопрос, который не задают вежливым людям: что делает главный врач с коричневым свёртком в Осло раз в год — и почему в его семейном древе норвежские имена. Ответ стоит дороже короны.

Честное предупреждение. Эта история начинается не с любви. Она начинается со вспышки дефибриллятора, диагноза «заметная» и яремной вены, которая впервые в жизни оказалась не на её стороне. Кончается — счётом, который начинается с нуля. Если, конечно, вы не предпочтёте двадцать один процент.

Пролог

У каждого готического романа в начале — замок, туман или покойник. У меня — жёлтая бумага и сургуч.

Письмо пришло в Осло, в общежитии на Крингшё, между сменой и мечтой о пиве. Не по почте: без марки, без обратного адреса, без единого объяснения. Только одна строка готическим шрифтом:

«Приглашаем врача-кардиолога в больницу города Суфолк. Главный врач Джонатан Дрейк».

Человек, который, как выяснится позже, никогда не ставил под этим письмом своей руки.

Тот, кто писал его, знал обо мне три вещи. Что я врач. Что готический шрифт действует на меня, как валерьянка на кошку. И что от приглашений, которые невозможно объяснить, я не отказываюсь — на это указывают мои двадцать шесть лет и четыре готических кольца из детства, три из которых я купила за карманные деньги.

Про четвертое он умолчал. Что я приеду не одна. Со мной приедет всё, что я прятала под стетоскопом: перстень с гербом, диагноз в кармане и вопрос, который не задают вежливым людям.

Вопрос этот стоит дороже короны.

Мёртвая женщина восемь лет держала за руку живого мужчину — каждый день, не пропуская ни одного дежурства. Мне понадобились одна вспышка дефибриллятора и одна яремная вена, чтобы начать разбираться, кто из нас троих здесь пациент.

Эта история начинается не с любви. Она начинается с плохого кофе, чая каждые пятнадцать минут и счёта, который начнётся с чистого листа.

Смена принята. Читайте быстрее, чем считала я.

Письмо с сургучом

Есть три вещи, которые я ненавижу больше всего на свете: престарелые лорды, слово «высочество» и когда кто-то фотографирует меня тайком.

Сегодня у меня было всё сразу.

Я Метте-Сольвейг. Врач-кардиолог, только что с дипломом Осло. И — вот тут начинайте смеяться — кронпринцесса. Да. Та самая. Не спрашивайте.

Однорूपники узнали об этом неделю назад, и это была лучшая неделя моей жизни, если жизнь состоит из хихиканья за спиной и старосты, который вдруг начал говорить со мной на «Ваше Высочество». Два дня я терпела. На третий я сказала: в аудитории Domus Medica на Гаустаде я Метте, и точка. Он покраснел так, что я почти его пожалела.

Почти.

Перстень с гербом я держала в ящике стола, под насадками стетоскопа. Это была моя маленькая месть судьбе: герб под медным оборудованием. Хорошо ложится.

А потом пришло письмо.

Не по почте. Не в мессенджере. Настоящее письмо: жёлтая бумага, сургуч, готический шрифт. Я прошептала «вау» вслух, в пустой комнате общежития на Крингшё, и мне стало неловко — но, клянусь, у меня в детстве было четыре готических кольца, три из которых я купила за карманные деньги, так что вы вообще не представляете, как меня это завело.

«Приглашаем врача-кардиолога в больницу города Суфолк. Главный врач Джонатан Дрейк».

Всё. Моё сердце сделало то самое, что делает сердце у людей моей профессии ровно один раз в жизни — и надо было, чтобы это случилось из-за шрифта, а не из-за нормального, живого человека. Смешно.

В Станстеде всё прошло по протоколу: биометрия, голос, алгоритм уже проложил мне маршрут — сорок минут по A12 мимо Вудбриджа — пока я шла к выходу. Мир — идеально отполированная машина. Скучно. И только конверт в сумке был чем-то живым и дерзким, как чужой осколок из другого фильма.

Суфолк встретил меня полями — рапс и сахарная свёкла до горизонта — и ветром, который нёс с соляных маршей Дебена крики кроншнепов. Больница показалась издали — красный кирпич на кремнёвом цоколе (Суфолк строит из кремня), башенка, часы, — и я мысленно поставила галочку: «да, она здесь как в письме». Старая, облупившаяся, с толстенными стёклами, будто она прячет внутри что-то ещё, кроме пациентов.

У входа меня встретила сестра в накрахмаленном халате. Она даже не моргнула. Ни единого удивления. Будто кронпринцессы с готическими письмами здесь — обычное транспортное движение по вторникам.

— Вы к доктору Дрейку?

— Да. Метте-Сольвейг, кардиолог.

— Проходите. Он в старом крыле. И не удивляйтесь, если вам покажется, что вы попали не в этот век.

О, если бы она знала, как быстро я привыкну.

Коридоры пахли воском и старой краской. Никаких экранов. Только бумага, каллиграфия, лампы с тёплым светом. Моя внутренняя готическая девочка, дремавшая со школы, проснулась и зашевелилась.

И тогда я услышала голос.

— Если мы не стабилизируем давление за сорок минут, мы его потеряем. И не надо мне про протоколы. У нас нет сорока минут.

Я постучала и вошла, не дожидаясь приглашения. Потому что я взрослая, профессиональная и никогда не делаю глупостей из-за мужских голосов. (Никогда. Один раз.)

Дрейк стоял над картой пациента. Высокий. Резкие скулы. Тёмные волосы, откинутае назад так небрежно, что это, очевидно, занимало у него двадцать минут перед зеркалом. Он поднял глаза — и посмотрел на меня так, будто измерял на прочность. Я удержалась. Не моргнула. Внутри при этом что-то тихо дёрнулось, но это уже моя проблема, а не его.

— Вы по письму?

— Да. Метте-Сольвейг. И, кажется, у вас тут пациент, которому не до формальностей.

— Любопытно, — сказал Дрейк. — Письмо, которое я не помню, что отправлял. Норвежка. И сразу в бой.

Я взяла карту со стола.

— Если мы будем разбираться с письмом сорок минут, мы его потеряем.

Пауза. Что-то в его лице коротко дрогнуло — я бы назвала это уважением, если бы он позволил.

— Хорошо. Действуйте. Но если ошибётесь — я хочу знать раньше, чем запищит монитор.

Монитор уже врал: линия металась, рваные пики, никакого ритма. Фибрилляция желудочков. Моё сердце, вопреки всему, что я тут про него писала, было собрано как часы: я не думала о титулах, о письмах и о том, что этот мужчина слишком красив для коридора с воском.

— Нет пульса, — сказала сестра. — Дыхания нет.

Мир сузился до трёх вещей: экран, пациент, дефибриллятор.

— Заряжаем на двести джоулей.

Электроды легли как надо. Дрейк стоял рядом и не мешал. Не нависал. Не торопил. И это, между прочим, очень характерно — за минуту я уже поняла про него больше, чем за весь разговор.

— Все назад. Разряд.

Вспышка. Линия выпрямилась, и на долю секунды меня прошиб холодом — прямая это плохо, прямая это очень плохо. Но потом пошли очертания. Дрожащие. Потом чёткие.

— Есть пульс, — выдохнула сестра. — Слабый, но есть.

Я закрыла глаза на секунду. Только сейчас поняла, что не дышала.

Когда я открыла глаза, Дрейк смотрел на меня иначе. Не как на кронпринцессу. Не как на гостью. Как на врача, которая не дрогнула.

— Вы умеете не только готические письма читать, — сказал он тихо. — Вы профессиональны.

— Я училась не ради аплодисментов, — сказала я, снимая перчатки. — Я училась, чтобы в такие минуты не было сомнений.

Он кивнул. И — да, я буду честной, потому что врать после дефибриллятора как-то не приходит в голову — от этого кивка у меня внутри снова дёрнулось. Хуже, чем в первый раз.

Вечером меня отвели в палату — маленькую, строгую, почти монашескую. Железная кровать, тумбочка, жёсткий стул. Ближайший посёлок, сказали, — Кэмпси-Эш, в трёх милях. Связи не ждите: болота Дебена и бывший военный полигон Орфорд-Несс глушат эфир. Я решила не спорить с географией и легла не раздеваясь, только сняла туфли.

Подушка была жёсткая. Мне это понравилось.

Сон не шёл. Вместо него — мысли про пациента, про разряд, про то, как Дрейк не мешал, и про письмо. Жёлтая бумага. Сургуч. И вдруг стало странно: это не приглашение — ключ. Кто-то знал, что только здесь я стану тем врачом, которым собиралась быть всё это время.

«Или ты просто устала и мерещишь заговор в каждой тени», — сказала я себе строго.

Часы в глубине больницы пробили полночь. Густо, тяжело.

Я посмотрела на чемодан у двери — гладкий, графитовый, до неприличия современный. В нём лежало всё моё «я» из прошлой жизни: шелковые блузы, туфли на каблуке, сыворотки, тени, помада — и флакон Francesca Bianchi Sex and Sea Neroli. Мой якорь. Мой маленький бунт против титула, который требует пастели и сдержанности.

Я коснулась губ: помада почти стёрлась. И это было странно. Не страшно — странно. Я без верхней оболочки — просто Метте, усталая девушка на жёсткой койке.

Парфюм ещё держался — горьковатый, с нероли и морем. Мой якорь.

Из коридора донеслись шаги. Ровные. Без суеты. Я узнала эту походку раньше, чем увидела силуэт, — и вот это уже было действительно тревожно.

— Не спится? — спросил Дрейк. Без упрёка, без любопытства. Как погоду.

— Пытаюсь привыкнуть к тишине. В Осло тишина — редкость: если не шумит стройка т-бана, шумит набережная Акер Брюгте. А здесь она объёмная.

Он остановился на пороге и не вошёл. За что я была готова поставить ему памятник. Посмотрел на чемодан, потом на меня.

— Здесь многое кажется лишним. Возможно, понадобится. А возможно, поймёте, что можете обойтись без половины.

— Или пойму, что мне достаточно быть врачом. Без всех этих аксессуаров.

— Это хорошее чувство, — сказал он. — Суть не в обёртке. Здесь мы работаем руками и головой. Остальное — по желанию.

— Спасибо, — сказала я. За что — сама не знала. За то, что не задавал вопросов. За то, что не смотрел на меня как на диковинку. Или просто за то, что пришёл проверить, как я устроилась.

— Отдыхайте. Завтра будет тяжёлый день. И если что — я буду в отделении.

Он ушёл. Я снова села на кровать, и подушка, к моему удивлению, больше не казалась жёсткой.

Она просто была настоящей. Как эта ночь. Как этот странный госпиталь, отказавшийся пускать к себе двадцать первый век.

Как я сама — без стрелок, без помады, без всех этих плащей, но с одним упрямым, совершенно неразумным чувством:

я на своём месте.

Пропедевтика

Ночью я практически не спала.

Виноваты были не только жёсткая подушка и больничный матрас. Хотя нет, совру: подушка виновата процентов на десять. Остальное — главный врач с его походкой, от которой я просыпалась, даже когда не просыпалась.

С утра мне хотелось двух вещей: спать и курить. При этом выглядеть при полном параде, потому что я Метте-Сольвейг и противоречить самой себе — мой основной режим.

Утешало одно: на ближайшие пятьдесят, ну пусть сто миль я была самой молодой и красивой женщиной. Спорить было не с кем. Идеальный расклад.

Поэтому сначала — боевой раскрас. Графичные стрелки. Алые губы. Тональный крем, разумеется. Если умирать от недосыпа, то красиво.

Потом я переоделась. Чёрное платье в обlipку, бессовестно короткое, высокий хвост с начёсом. И тонкие сигареты с ароматом вишни.

Терпкие. Сладкие. Личный манифест.

Я курила назло — кому именно, я не уточняла, — с наслаждением выпуская из лёгких клубы дыма. Нероли из моего парфюма смешались с вишней, и получился запах, за который в Осло меня бы осудили минимум три инстанции.

Красиво живётся, что тут скажешь.

И тут краем глаза я заметила Джонатана.

Он шёл через двор и смотрел на меня. Не так, как смотрят все — быстро, испуганно, в сторону. Он смотрел открыто и с нескрываемым осуждением, как будто я украла у больницы что-то ценное. Например, собственные лёгкие.

— Курить вредно, — сказал он, подойдя вплотную.

Вплотную — это у него особая единица измерения. Метра полтора. Столько, чтобы пахнуть чистой рубашкой и проступить до глубины.

— А что не так? — спросила я.

— Как врач скажу: синтез коллагена четвёртого типа снижается, — он произнёс это ровно, как диагноз. — И ваша прекрасная упругая грудь рискует опуститься.

Я вдохнула. Дым. Вишня. Терпение.

— А как мужчина? — спросила я, потому что любопытство у меня врождённое, лечению не поддаётся.

— А как мужчина отвечу иначе. Сильная половина странно смотрится в макияже и на каблуках. Женская половина — в этом органична.

Он помолчал. Я успела подумать, что сейчас он извинится.

Он не извинился.

— Мой вам совет: оставьте сигарету мужчинам. Как мы вам оставили макияж.

Вот тут внутри у меня что-то свернулось и зашипело, как сигарета в луже.

— Доктор Дрейк, — сказала я очень медленно, выпуская дым ему в сторону, но не в лицо. Я всё-таки врач. И воспитанная. Формально. — Сигареты, макияж и каблуки не входят в перечень вещей, которые вы мне «оставили». Я их взяла сама.

— Знаю, — сказал он спокойно. — Именно поэтому и говорю.

И вот это было хуже всего. Он не повышал голос. Он не хмурился. Он стоял с лицом человека, который абсолютно уверен, что прав, и от этого его невозможно было ненавидеть по-настоящему.

Можно было только ненавидеть слегка. И немного ещё кое-чего, о чём я не собиралась думать, стоя в коротком платье и с сигаретой в руке.

— Ненавижу вас, — сообщила я.

— Уже слышал, — сказал он. — Результат уже был, и лучше.

Он взял у меня сигарету. Не вырвал — взял, двумя пальцами, как что-то хрупкое, затушил о чугунный край и выпустил окурок в урну. Деликатно. С урной обошёлся вежливее, чем со мной.

— Смена через двадцать минут, — сказал он. — Завтрак в столовой. Кофе там плохой, но его много.

И пошёл прочь — так же мерно, как пришёл.

Осталась я во дворе и свела счёт. Одна фракция требовала закурить вторую сигарету из принципа. Вторая заметила, что «прекрасная упругая грудь» — это, строго говоря, комплимент, и что за отзывчивость урны он заслуживает минимум снисхождения.

Первая фракция проиграла. По счёту — всерьёз.

Я потрогала губы. Помада на месте. Алые. Дерзкие.

«Ага, — подумала я. — Держись, щит. Этот человек опаснее дефибриллятора».

И пошла завтракать. Пить плохой кофе в неограниченных количествах.

Без сигарет. Пока что.

Но... нагло я закурила снова.

Не сразу. Я дошла до угла дома, постояла, подумала о врачебной этике, о коллагене, о своей прекрасной упругой груди, о которой я отныне обязана заботиться по поручению главного врача.

А потом достала вторую сигарету. Это был вызов.

Я даже выбрала самое видное место во дворе. Прямо напротив окна его кабинета. Того самого, с занавеской цвета запекшейся крови, за которым он иногда стоит, когда думает, что никто не смотрит.

Прикурила. Вдохнула. Выпустила дым медленно, красиво, как в рекламе, которую запрещают.

Вишня. Нероли. Победа.

Окно не шевельнулось. Я докурила до середины. Окно продолжало не шевелиться. Я докурила до фильтра, затушила и поняла две вещи.

Первая: я только что двадцать минут простояла на ветру ради мужчины, который даже не открыл окно.

Вторая: это был мой самый громкий проигрыш со времён экзамена по терапии.

— Внизу дым, — раздался за спиной голос.

Я вздрогнула так, что чуть не проглотила мундштук.

Дрейк стоял в двух шагах. Не из окна. С той стороны. Он, оказывается, всё это время стоял за углом и смотрел.

— Вы считаете сигареты? — спросила я.

— Нет, — сказал он. — Я считаю ваши шаги. Вы вышли один раз. Вернулись. Вышли второй раз. И во второй раз выбрали позицию, с которой вас видно из моего кабинета.

Отлично. Просто отлично. Он ещё и по стратегии курения читает людей, как рентген.

— Совпадение, — сказала я.

— Естественно, — согласился он. — Как и то, что вы стояли в стойке победителя. Спина прямая. Подбородок вверх. Дым выпускаете вверх. Так курируют на плакатах, которые вешают, чтобы отучить подростков.

— Это называется стиль.

— Это называется провокация. — Он помолчал. — Неудачная. Я не вышел бы.

— А если бы вышли?

— Задал бы вопрос.

— Какой?

— Почему вторая сигарета была нужна вам больше, чем первая.

— Врачи умирают от стресса, — сказала я. — Это профессиональная профилактика.

— Ваш пульс сейчас сто десять, — сказал он спокойно. — От сигарет — не более чем на пять ударов. Остальное не лечится никотином.

— Вы не имеете права считать мой пульс.

— Не считал. Видно по шее. Мелкая пульсация сонной артерии. Это базовая пропедевтика, Метте-Сольвейг.

Он впервые назвал меня по имени. Полным именем, как в письме. И оно в его рту прозвучало так, будто он подписал им какую-то бумагу, которую я пока не читала.

— Смена через десять минут, — сказал он. — Уходите с холода.

Он пошёл прочь. Потом — я думала, что уже ничего не смогу пережить сегодня, — остановился. Не обернулся. Просто сказал в спину двору:

— В следующий раз докуривайте до конца. Докуривать наполовину — худшая из привычек. И ставить диагнозы самому себе по ним нельзя.

И ушёл.

Осталась я во дворе с фильтром в пальцах и осознавала счёт. Одна ничья. Один проигрыш. И полное, оглушительное, катастрофическое понимание того, что он видел меня всё это время.

— Ненавижу, — сказала я двору.

Двор промолчал. Двор был на его стороне — включая, кажется, мою яремную вену.

Диагноз «заметная»

И вот тут я захотела, чтобы земля разверзлась. Аккуратно, по-английски, без жертв. Потому что он попал. Вторая сигарета не была про курение. Вторая была про «оставьте сигарету мужчинам» и про «знаю» — то самое, которым он отвечает вместо объяснений.

Ну хорошо. Хочешь пропедевтику — получай пропедевтику.

— Доктор Дрейк, — сказала я и затушила сигарету сама, медленно, глядя ему в глаза. — У меня дилемма.

Он чуть склонил голову. Впервые за всё утро он выглядел заинтригованным. Это стоило того.

— Вы заставляете моё сердце сокращаться чаще на двадцать ударов в минуту. Сигареты прибавляют мне к исходному двадцать. Но мне и в голову не приходит отказаться от вашего общества. Хотя вы тоже человек вредный.

Пауза. Ветер шуршал в изгороди.

— Но красивый, — закончила я.

Дьявол, я это сказала. Я это сказала вслух. Тому самому человеку, который считает чужие шаги за угол и пишет письма, которые не помнит, что отправлял.

Дрейк не моргнул. Дрейк вообще владел лицом, как хирург — скальпелем.

— Интересная карта, — сказал он наконец. — Разрешите уточнить.

— Врачам можно.

— Двадцать ударов от сигарет — это много. Двадцать — от меня, — он помолчал. — Стало быть, я действую сильнее никотина. Приобщитесь к статистике: вы только что назвали меня опаснее курения, при этом не отказались от меня.

— Я не это назвала.

— Буквально это. — Он чуть наклонился — на те свои полтора метра, ближе которых не подходит. — Разве что вы сказали «вредный» и «красивый» в одном предложении. Так обычно говорят о том, что уже нравится.

— Я врач. Я говорю по фактам.

— Тогда факт: курить вам нельзя. А вот общество моё вреда не доказано. — Он посмотрел на затушенную сигарету, потом на меня. — Пульс, кстати, вы измерили не по фактам, а по ощущениям. Это две разные дисциплины.

— И в чём разница?

— Ощущения говорят «вредный и красивый». — Он выпрямился. — Факты скажут, когда их соберут. Работаю над этим.

Он развернулся и пошёл прочь. Ровно. Как по расписанию. А потом — я уже начинала узнавать этот приём — бросил через плечо:

— Смена через десять минут. Кофе плохой. Его много.

И всё.

Я стояла во дворе с потушенной сигаретой и пересчитывала произошедшее. Я собиралась смутить его. Я смутила себя. Он вышел из этого разговора со статистикой в свою пользу и, кажется, с обещанием «работать над этим», что звучало либо про исследование, либо про что-то совсем другое, и я запретила себе думать, про что именно.

— Ладно, — сказала я двору. — Счёт засчитан.

Двор промолчал.

Но яремная вена, если по ней судить, была совершенно не на моей стороне.

Столовая была как при королеве Виктории.

Длинные столы. Прачки накрахмаленные. Сёстры сидели практически молча, ели так, будто приборы выдавали по паспорту, и разговаривали только о погоде — и то шёпотом, потому что погода — тема деликатная.

А тут я. Как из ночного клуба.

Чёрное платье в обlipку. Алые губы. Хвост с начёсом, от которого у каждой приличной сестры должен был дёрнуться воротничок. Я шла вдоль столов с подносом, и тишину можно было резать секционным ножом.

Обожаю.

Не спрашивайте, зачем. В Осло я вела себя прилично, и знаете что? Меня всё равно обсуждали. Так уж лучше обсуждают за платье, чем за перстень с гербом.

Я села. Не куда-нибудь, а за длинный стол, на самое видное место, спиной к окну — чтобы видеть всю столовую сразу. Стратегическое мышление, я же говорила, что у меня с этим всё в порядке.

Сёстры смотрели. Аккуратно, краем глаза, поверх супа. Одна молоденькая, с веснушками, смотрела прямо и потому мгновенно покраснела, поймав мой взгляд.

— Доброе утро, — сказала я ей.

— Д-доброе, — прошептала она и уткнулась в суп, как в щит.

Отлично. Одна уже сломана. Счёт: один ноль в пользу клуба.

И тут двери открылись, и вошёл Дрейк.

Столовая не стала тише — невозможно стать тише абсолютной тишины, — но что-то в ней изменилось. Сёстры разом подобрали спины. Прачки, как по команде, оказались с полотенцами в руках. Даже пар из котлов, кажется, стал идти аккуратнее.

Он взял поднос, кофе, тост и — я не успела поверить своим глазам — сел напротив меня.

Напротив. Через стол. Специально.

— Вы это специально, — сказала я.

— Что именно? — Он разломил тост. Аккуратно, по диагонали.

— Сели напротив. Чтобы все видели, что главный врач завтракает с женщиной из ночного клуба.

— С врачом, — поправил он. — Женщина из ночного клуба сидела бы не за столом, а на нём. Столовая этого не одобрит.

Я поперхнулась кофе. Он и правда был ужасен. Горелый, с привкусом разочарования.

— Вы предлагаете мне сесть на стол?

— Я предлагаю вам ничего не предлагать. — Он отхлебнул свой кофе и не поморщился. Это уже за гранью человеческого. — Я констатирую границы дозволенного в этой столовой. Они узкие. Как вы любите — платья, я имею в виду.

Веснушчатая сестра за соседним столом издала звук — что-то между кашлем и удущением.

Я отставила чашку.

— Доктор Дрейк. Вы делаете мне комплименты.

— Я делаю вам наблюдения.

— «Платья, я имею в виду» — это наблюдение?

— Да. Вы выбираете одежду, чтобы на неё смотрели. Я выбираю слова, чтобы на них смотрели вы. Мы в расчёте.

Сёстры за столами разом перестали дышать. Я почти слышала, как тридцать накрахмаленных воротничков выстроились в единый заговор против меня: слушать, слушать, слушать.

— А если я надену завтра серый халат? — спросила я.

— Не наденете.

— Почему?

— Потому что вы уже пробовали быть невидимой — в аудитории, в ящике стола под стетоскопом. — Он посмотрел на меня поверх чашки. — Не сработало. Вы заметная. Примите это как диагноз.

И вот это было уже не смешно. Это было — точно. Он одной фразой собрал всё: перстень, стрелки, платье, вторую сигарету напротив его окна.

— Вы меня сканируете.

— Я вас наблюдаю. Это моя работа. Пациентов — тоже.

— Я вам не пациент.

— Пока нет.

Он допил кофе, встал, сложил салфетку — четыре сгиба, идеально ровные, — и положил рядом мою чашку. Свою унёс с собой.

— Смена через пять минут, — сказал он. — Приходите. Посмотрим, что вы умеете, когда не курите назло.

Он ушёл. Столовая медленно выдохнула. Пар из котлов вернулся к обычной наглости.

Веснушчатая сестра наклонилась ко мне через стол и — с достоинством человека, рискующего жизнью, — прошептала:

— Он никогда не садится с кем-то. Никогда.

— Знаю, — сказала я.

— Он никогда не шутит.

— Это я заметила.

— Он сказал вам «примите как диагноз».

— Он сказал. — Я посмотрела на свою чашку, которую он аккуратно поставил на место салфеткой, как экспонат. — И, судя по всему, он прав по всем пунктам.

— Суп остыл, — сообщила она с сочувствием.

— Суп, — сказала я, — переживёт.

Хуже того: переживу я. С диагнозом «заметная» от человека, который не садится ни с кем и никогда, — но сел со мной.

Он не бесил

Я осмотрела пациентов.

Лечили их, как будто по протоколам столетней давности. Так и было, если честно. Половина препаратов в назначениях в Норвегии считалась моветоном, а тут фигурировала в картах как само собой разумеющееся, с уверенным почерком и дозировками, от которых у меня дёрнулся глаз.

Я делала вид, что не дёргалась. Два дня — мой рекорд адаптации к ненормальному.

Потом мне достались они.

Две старые перечницы с гипертонией. Палата на двоих, у каждой по клубку вязания и по взгляду, которым в Осло расстреливали бы на месте.

— Утро, — сказала я. — Кардиолог Метте-Сольвейг. Сегодня ваша лечащая.

Смотрели на меня как на рекламу, которую хочется выключить.

— Таблетки от давления, — сказала я. — Современные. Начнём с малых доз.

— Мы пьём настои, — сказала первая. Миссис Холлоуэй, шестьдесят восемь, по карте.

Выглядела на все семьдесят и на все свои боевые заслуги.

— Боярышник, — уточнила вторая. Миссис Пимм. Она вносила детали, как на войне.

— Боярышник — это мило, — сказала я. — Но давление у вас сто семьдесят на девяносто пять, и боярышник при этом — декорация.

— Молода ещё меня учить, — сказала Холлоуэй.

— Я дипломированный кардиолог.

— А я тут живу дольше, чем существует ваш диплом.

Проиграла в первом же раунде. Ясно, коротко и по существу — мой стиль общения — работало против меня. Мой стиль вообще частенько работает против меня, но признавать это я буду лет через сорок.

— Ваши настои, — сказала я ровно, — я не запрещаю. Пейте на здоровье. Но к ним добавим таблетки. Хотя бы на неделю. Если давление не пойдёт вниз — я отступлю первая.

Холлоуэй прищурилась.

— Отступите?

— Первая. При вас. С извинением.

Пимм перестала вязать. Это в их мире означало то, что в моём — аплодисменты.

— Таблетки маленькие? — подозрительно спросила она.

— Крошечные.

— Горькие?

— Как вся моя жизнь. Запивайте водой и не подумайте о плохом.

Холлоуэй фыркнула. По-старушечьи, но фыркнула. Перемирие было подписано. Вязание возобновилось.

Уже в дверях Пимм догнала меня взглядом и сказала:

— Девочка, у тебя помада как кровь.

— Знаю, — сказала я.

— Идёт тебе, — сказала она. — А чего ты от людей-то шарахаешься? У нас не кусаются.

Я не успела ответить. За дверью, чтобы никто не слышал, я позволила себе улыбнуться.

Потому что да. Я до безумия люблю животных. Гринпис. Веганство. Подпишу любую петицию про китов, сплю со сборником про спасение пчёл. А люди — это отдельная наука, по которой у меня нет допуска. Кошки не спрашивают про дипломы. Кошки не зовут меня «Ваше Высочество». Кошки не говорят «синтез коллагена четвёртого типа» голосом, от которого...

Стоп.

Не надо заканчивать это предложение.

— Интрузия? — спросил голос за спиной.

Дрейк. Разумеется. Он материализовался из стены, как и все в этой больнице, и стоял с картой в руках. Опять смотрел с осуждением. Или с любопытством. В этом возрасте уже не различить — я про его возраст, не про свой.

— Сколько вы стояли?

— Достаточно, чтобы услышать про китов.

— Это была внутренняя речь.

— Она была громкая.

— У меня дилемма, доктор Дрейк, — сказала я, потому что тактические ошибки я не повторяю дважды, а тактические поражения — тем более. — Вы заставляете моё сердце сокращаться чаще на двадцать ударов. Пациентки Холлоуэй и Пимм — минут на десять тишины в моих венах. Кого мне выбрать при такой арифметике?

Он подумал. Серьёзно подумал — я видела, как у него сдвинулась бровь.

— Кошек, — сказал он.

— Что?

— Вы говорили про пчёл и китов. В больнице из живых существ есть кошка. Миссис Холлоуэй её содержит вопреки всем санитарным нормам. Рыжая. Спит в моём кабинете, когда я не в кабинете.

— У вас есть кошка?

— У миссис Холлоуэй есть кошка. Она утверждает, что это автоматическое понижение давления. — Он посмотрел на меня поверх карты. — Она права. Это единственный пункт её терапии, который работает.

— И вы разрешаете кошку в больнице?

— Я ничего не разрешаю. Я отворачиваюсь. Это разные полномочия.

— Вызываете уважение, — сказала я. — Главный врач, который отворачивается от санитарных норм ради трав и кошек.

— Главный врач, — сказал он ровно, — который запомнил, что вы любите животных, и не тратил на это времени.

Вот. Вот это было уже слишком хорошо выстроено, чтобы быть случайностью. Я ушла от разговора про сердце — он вернул мне его кошкой. Беда в том, что я хотела пойти посмотреть эту кошку немедленно.

— Где палата Холлоуэй? — спросила я деловым голосом.

— Второй этаж. — Он уже отходил, поэтому сказал это в спину двору. — Переоденьтесь. Вы при полном параде делаете с пациентами то, что они делают со мной. Ничего.

— Вы это заметили?

— Я всё замечаю, Метте-Сольвейг.

Имя. Полное. Второй раз за два дня.

Я стояла в коридоре с картой в руках и понимала, что счёт за утро выглядит так: две перечницы — минус один, помада — плюс один, кошка — огромный плюс, Дрейк — счётная машина, работающая против меня.

— Ненавижу, — сообщила я коридору.

Коридор был на его стороне. Как и всё здесь.

Включая, кажется, мои вены.

Слава богам, в обед меня не дёргали.

Слава богам — в смысле, никому. Боги, судя по всему, в эту больницу не допускались: им бы не понравились сургуч и стеклянные шприцы. Но выражение хорошее, оставлю.

У меня был целый час свободы. И я сделала то, что делала каждую пятницу, только без паба: попыталась позвонить друзьям.

Эрику и Элинде. С которыми выпита не одна пинта пива. Не один ящик егермейстера. Пролито не одно море слёз — преимущественно над органической химией, но и по мелочи тоже.

У нас была традиция. Пятница, паб, пиво до поросычьего визга. Визг, к моей чести, демонстрировала я — в караоке. У меня прекрасное сопрано, отличная пластика и худая фигура, чтобы показывать это публично. Эрик считает, что «шоу с шестом» не является частью медицинской этики. Эрик вообще считает много чего, обычно без ошибок, что бесит.

Я набрала Эрика.

Связь была жуткая. Точнее, связи не было — был звук, похожий на утопленника, которого реанимируют со второй попытки.

— Эрик? Это Метте!

— Мхх... ме... огх... — сказал Эрик.

— Ты слышишь меня?

— Охх... фф... — сказал Эрик. Потом, глухо и с надеждой: — Метте?

— Да! Как операционная?

— Ме-е-тте... огх... — судя по интонации, он слышал каждое второе слово. Из моих слов он выбирал, видимо, самые бесполезные.

— Ты лучший кардиохирург Осло, ты творишь чудеса с клапанами, а говорить по связи с Суфолком не умеешь!

— Огх, — согласился Эрик.

Разговор длился четыре минуты. За это время я узнала: что Эрик жив, что операционная — «огх» и что он по выходным таскает в наш паб на Торвальд Мейерс гате Элинду и своего художника и пьёт мой эль. Мой. Любимый. Браун-эль.

Я спросила про Элинду. Эрик передал трубку — видимо, физически, потому что дальше были звуки падения и сдавленное «прости, это Эрик, я порвал сетевой кабель».

Элинда, консультировавшая терапевтический блок, оказалась слышнее. Она работала в той же больнице, что и Эрик — оба в Осло, в Рикшоспитале: с голографическими экранами и кофе без вкуса, но в неограниченном доступе.

— Ты пропала, — сказала Элинда.

— Я в Суфолке. Работаю в больнице.

— В какой больнице?

— Понятия не имею, как она называется. Табличка латунная, потёртая. Медицина там эпохи короля Эдуарда.

— У тебя интернет?

— Полное отсутствие нормального интернета. И связи. И нормальной медицины.

— Прогноз?

— Готический. Буквально. Мне прислали письмо с сургучом.

Элинда помолчала. Потом сказала голосом, который я знаю с первого курса:

— Метте. Ты работаешь в секте.

— Я работаю по приглашению главного врача.

— Он молодой?

— Никогда не спрашивай меня таких вопросов, Элинда.

— Красивый?

— ... Это важнее, чем то, что у них нет интернета?

— Метте.

— ... Да. Красивый. Резкие скулы. Тёмные волосы. Голос, от которого я перестаю понимать, где я, кто я и зачем я вообще ездила в эту Англию.

— Значит, магия готических писем, — сказала Элинда, — распространяется на тебя и на твой пульс. Остальное — детали.

Она была права. Элинда всегда права. Это вторая причина, по которой я её люблю, — после того, что она однажды за меня сдала фармакологию, украв мой конспект, но в целом она права.

Связь умерла в момент, когда я начала рассказывать про кошку миссис Холлоуэй. Возможно, это было не с сетью. Возможно, сеть взвесила ситуацию и решила, что «главный врач красивый» — это предел драматургической ценности за одно соединение.

Я вернулась на лестницу. Села на ступеньку. Оглядела коридор: воск, старая краска, тёплые лампы, за окнами — Суфолк в вечернем тумане.

Ну что.

Зато у меня главный врач красивый. Полное отсутствие нормального интернета. Связи. Медицина эпохи короля Эдуарда. Кошка без санитарных норм. Пациентки, которые вяжут и дают советы про помаду.

А так — ничего.

Всего лишь пятница. Без паба. Без пинт. Без моего визга, который, между прочим, в Осло любили минимум восемь человек.

Внизу хлопнула дверь. Потом ещё раз. Потом — ровные шаги, как по расписанию.

Я бы узнала эту походку среди тысячи. Походку, с которой можно перепутать только встречу с судьбой и поход в столовую.

— Не спится? — спросил Дрейк. Хотя было шесть вечера. Но вопрос был, похоже, универсальный, как и всё в этой больнице.

— Звонила друзьям. Связь тут...

— Знаю, — сказал он.

И вот тут я сделала открытие. Он не сказал «у нас тут нет нормальной связи» или «сеть барахлит». Он сказал «знаю». Так, как будто отсутствие связи — это не баг, а архитектура. Как будто кто-то её здесь именно так спроектировал.

— Доктор Дрейк. А почему у вас нет интернета?

Он посмотрел на меня сверху вниз. Вечерний свет из окна падал на его скулы — и я опять подумала про резкость, что было неудобно, потому что вопрос был технический.

— Есть, — сказал он. — На четвёртом этаже. В административном крыле. Одна машина. Для документов.

— Одна? На всю больницу?

— Больнице хватает. Сюда приезжают работать руками. А не читать ленту.

— А если пациенту нужно уточнить протокол?

— Пациент уточняет у врача. Врач — у головы. — Он помолчал. — Голова иногда звонит в Осло, если очень надо.

Я почувствовала, как у меня внутри всё оборвалось.

— В Осло?

— Да.

— Кому?

Он отступил на шаг — и тёплый свет перестал попадать на его лицо. Оно снова стало тёмным, плоским, как у человека, который решил, что сказал достаточно.

— Пришло время смены, — сказал он. — Кофе плохой. Его много.

И ушёл.

Я сидела на ступеньке с телефоном в руке и смотрела на экран. Ноль делений связи. Одна батарея.

«В Осло», — сказал он. Не «в министерство». Не «в королевскую коллегия врачей». В Осло.

Я не знаю, что это значит. Я знаю только, что в маленькой больнице в Суфолке, где нет интернета, кто-то звонит в Осло. И, судя по его лицу, не за кофе.

— Ненавижу, — сказала я телефону.

Телефон промолчал. Но экран впервые за день мигнул — раз, второй. Как будто кто-то на том конце всё-таки услышал.

Я решила не идти на смену.

Пятница. Я на дежурства не подписывалась. Я так думала — и, как выяснилось позже, я ошибалась в трёх из трёх пунктов, что даже для меня выдающийся результат.

Сначала я попыталась вызвать такси. В этой дыре проще вызвать дьявола. Приложение крутило кружочек так долго, что я успела перечитать все отзывы о больнице — оба, и оба от самого Дрейка, судя по стилю.

Такси наконец приехало — позже я узнала: диспетчер прислал машину из Саксмундема, ближе свободных не нашлось. Ехало оно так долго, будто я вызвала его с начала века. Выглядело оно так же: дедушкина машина цвета престижа, заднее сиденье с розеткой для пылесоса, водитель без единого слова за всю дорогу.

Двадцать миль по тёмным полям. Стекло толстое. Радио ловило одну станцию — кто-то читал прогноз погоды для пастухов.

Ну и ладно. Зато я выглядела на все деньги.

Короткое платье — других у меня здесь нет — алое и пышное, с глубоким декольте. Стрелки. Алая помада. Франческа Бьянчи на коже. Шпилька такая высокая, что в Осло меня бы по ней классифицировали как отдельную категорию пациентов.

Уверенная походка от бедра. Осуждающий взгляд сестёр — на прощание, из окна регистратуры.

Жизнь налаживается.

Полчаса по тёмным полям — и я в Орфорде, на Маркет-Хилл, в пабе «Тушенная устрица».

Название, как выяснилось, было обещанием: на стене висела чучело устрицы размером с чайник, и выглядело оно так, будто тушиться его заставили в пятьдесят седьмом году, и оно до сих пор в обиде. Обида понятна: в Батли-ривере, на той стороне устья, устриц до сих пор наловят столько, что чучелу явно не досталось ни одной.

Паб был идеальный. Тёмное дерево. Низкие балки. Бармен с подбородком, на котором можно было бы носить мелочь. Свечи в бутылках. Народ — двенадцать человек, из которых десять знали друг друга с крещения. У камина о чём-то спорил фермер из Кэмпси-Эша — по выражению лица, с самим чучелом устрицы.

Я села у стойки. Походка от бедра сработала: бармен поднял глаза и сразу понял, что я не отсюда. Сёстры бы удавились от зависти.

— Егермейстер, — сказала я.

Бармен не моргнул. Это меня встревожило: в Осло на слово «егермейстер» бармены хотя бы вздрагивают.

— Есть?

— Есть, — сказал он. — С восемьдесят шестого года стоит.

Восемьдесят шестого. Питание. Прекрасное.

Но пятница есть пятница. Пинта пива — не случилось, ящик егермейстера — сократился до одной рюмки, море слёз — по консервации. Но традиция нарушается только частично: я пила в гордом одиночестве.

Минут двадцать — и я уже держала рюмку, тосты — сама с собой, и это, между прочим, тоже тренировка: кто-то же должен быть тем человеком, который произносит тосты в пустоту. В Осло за это платили. Уважали. Терпели.

Я подняла рюмку к чучелу устрицы.

— За Эрика, — сказала я. — За Элинду. За художника Эрика, который хотя бы молчит. За китов и пчёл. За королеву, за лошадей, за всех, кто не пьёт со мной сегодня, потому что их вообще не позвали, потому что имели наглость остаться в Осло.

Чучело промолчало. Бармен не моргнул. Десять местных, знакомых с крещения, постарались не заметить меня целиком.

Отлично. Традиция сохранена. Друзья заменены дидактическими материалами по биологии.

— За Суфолк, — добавила я, потому что третья рюмка всегда добавляет искренности, в которой никто не нуждался.

И тут дверь паба открылась.

Я почувствовала это раньше, чем увидела. Так чувствуют, когда кто-то смотрит на тебя через комнату: по спине холодок, а у меня уже все нервные окончания были натренированы именно на этот холодок.

Дрейк.

Главный врач. В пабе. В пятницу. В семь вечера.

Он прошёл к стойке, сел — не рядом, но так, что меня было видно в профиль, и это, конечно, тоже была не случайность, потому что случайностей в этой больнице не было ни одной, — и сказал бармену:

— Чай. Если есть.

Чай. В пабе. «Тушеная устрица».

Бармен достал чайник. У него даже не дрогнуло лицо. Значит, это было привычно. Значит, Дрейк тут бывал. Значит, главный врач этой больницы, которой триста лет, в пятницу вечером пил чай в пабе с чучелом устрицы, и никто в Суфолке не находил это странным.

— Вы решили не идти на смену, — сказал он. Не спросил. Констатация.

— Я не подписывалась на дежурства.

— Вы подписались. — Он разлил чай по кружке. — Пункт четырнадцатый, страница девять. Дежурства по пятницам — при нехватке персонала. Персонала не хватает всегда. Это тоже пункт.

— Вы специально дали мне короткий день.

— Я дал вам день. Коротким его сделали вы. — Он отпил. — Приятный наряд. Неудачный для сельской Англии. Здесь заметят.

— Здесь никто не смотрит на меня.

— Здесь все смотрят на вас. Просто делают это через угол. Здесь это вежливее.

Я повернулась к нему всем корпусом. Декольте на месте. Помада свежая. Пульс — и я не собиралась его считать, но он уже был посчитан, организм вёл учёт самостоятельно — подскочил.

— Доктор Дрейк. Вы приехали в паб, чтобы увезти меня на дежурство?

Он посмотрел в свою кружку. Потом на устрицу. Потом на меня — и впервые за два дня в его лице что-то случилось. Что-то маленькое, на краю глаза. Что-то, что у людей, не владеющих лицом как скальпелем, называлось бы улыбкой.

— Нет, — сказал он. — Я приехал пить чай. Это моя пятница. — Пауза. — Уже восьмой год подряд. За тем же столом.

— За тем же?

— За тем же.

— Один и тот же стол восемь лет подряд?

— Столы не подводят, — сказал он.

Я отставила рюмку. Числа в моей голове снова пошли в счёт: связь, которой нет, — архитектура. Чай, один и тот же, — ритуал. Восемь лет — срок, за который можно что-то забыть. Например, что отправлял письмо.

— Вы пьёте здесь чай каждую пятницу, — сказала я медленно, — восемь лет. И за восемь лет никто не спрашивал, почему главный врач пьёт чай в пабе.

— Никто, — согласился он.

— А почему?

Он поднял кружку и ответил:

— Потому что здесь тихо.

И это был не ответ. Это был ответ отложенный, и я это знала, и он знал, что я знаю. Мы смотрели друг на друга через барную стойку, как два врача, которые оба только что увидели на снимке тень и оба пока предпочитают не называть её вслух.

— За «Тушеную устрицу», — сказала я и подняла рюмку.

— За устрицу, — согласился он.

Мы выпили. Он — чай, я — егермейстер, стоявший с восемьдесят шестого года. Он был отвлечен. Сладкий, травяной, как сама эта больница.

Бармен всё это время не моргнул. Устрица молчала.

За окном темнело, и где-то в глубине Суффолка часы, которые признавали только своё время, начали бить.

Во мне плескался алкоголь и игривое настроение.

Пропорции были опасные: примерно один егермейстер на одну пятницу без друзей и один красивый главный врач, который пил чай за тем же столом восьмой год подряд.

— Бармен, — сказала я. — Поставьте трек. Tiga.

Бармен посмотрел на меня так, как смотрят на заказ, который не принимали со прошлого века. Потом молча полез под стойку — и достал оттуда старый лэптоп со стикерами, половина которых была старше меня.

— У вас тут музыка есть?

— Есть, — сказал он. — Восемьдесят дисков. И один парень из Норвича, который иногда ставит плеер.

— Ставьте Tiga.

Он поставил. Колонки, явно ровесники лэптопа, хрипло, но честно заиграли электронное — посреди сельской Англии, между дротиками и чучелом устрицы. Десять местных, знакомых с крещения, синхронно подняли головы, как стадо, услышавшее незнакомый звук.

Отлично. Внимание обеспечено.

И я уверенно прошла к шесту.

Да, к шесту. В «Тушеной устрице», между дротиками и чучелом, обнаружился шест — возможно, для флагов, возможно, для полирования, возможно, в пятьдесят седьмом году тут было что-то совсем другое. Мне было всё равно. Я танцевать умела.

А Дрейк меня бесил.

Или не бесил. В общем, вызывал амбивалентные чувства, и амбивалентные чувства в моём исполнении требовали шеста и электроники. Это базовая пропедевтика, доктор.

Надо понимать: я не собиралась раздеваться. Я собиралась быть заметной. Это разные вещи, хотя оборудование совпадает.

И я танцевала. Под Tiga, под хрип колонок, под полный ступор десяти аборигенов. Пластика — отличная, фигура — худая, сопрано — подключилось примерно на припеве, хотя у Tiga припев — условное понятие. Бармен налил мне воды, не прерывая процесса. Даже устрица, кажется, повернулась.

А Дрейк...

Дрейк не встал.

Дрейк не вышел.

Дрейк сидел за своим столом с кружкой чая и смотрел. Спокойно. Неодобрительно — да, в этом было неодобрение, я бы даже сказала, целых два: одно как врач, второе как... второе я разберу позже, когда нервы вернутся с переговоров.

Но он не отвёл взгляд.

И вот это было хуже всего. Потому что от мужчины, который отворачивается, можно спрятаться. А от мужчины, который смотрит с неодобрением и не отводит глаз, спрятаться некуда — тем более под Tiga на шесте.

Трек закончился. Тишина была оглушительная — десять местных синхронно выдохнули, будто всё это время не дышали.

Я спустилась, медленно, на полную высоту шпильки, прошла обратно к стойке и села рядом с ним. Не напротив — рядом. Он не подвинулся. На миллиметр. Я засчитала это как капитуляцию.

— Это было непрофессионально, — сказал он.

— Это была пятница.

— Пятница не является медицинским показанием к шесту.

— Не является. Но вы смотрите, доктор Дрейк.

Пауза. Чай в кружке перестал идти паром — кажется, и он решил не вмешиваться.

— Я наблюдаю, — сказал он наконец. — Это моя работа.

— Я вам не пациент.

— Пока нет, — сказал он, и фраза упала так, что я услышала в ней эхо. Наше вчерашнее. Он это запомнил. Он всё запоминал, вот в чём беда этого человека: у него в голове, кажется, был учётный регистр, и я там уже значилась под какой-то картой.

— И что в регистре? — спросила я вслух, прежде чем внутренний цензор успел расстрелять вопрос.

Он посмотрел на меня. Долго. Свечи в бутылках, чучело устрицы, хрипящий лэптоп — всё это существовало, но по касательной. Основным источником света, к сожалению, было его лицо.

— Пульс, — сказал он. — Сто двадцать. На шесте было сто сорок. Причём на шесте — от нагрузки только процентов на сорок.

— А на остальные шестьдесят?

— Данные уточняются, — сказал он и встал. Сложил салфетку — четыре сгиба, идеально ровные, — положил рядом мою кружку с водой и добавил уже вполоборота: — Водой запейте. Идёмте. Смена отменяется, но стол в столовой — нет. Вы не ужинали. Пить натошак — это не пятница, это гастрит.

— Вы теперь и за гастрит отвечаете?

— Я за всё здесь отвечаю, — сказал он.

И вот это была первая фраза за вечер, которую я не смогла перевести ни во флирт, ни в издёвку. Она звучала слишком буквально. Как будто он отвечал не за ужин, а за что-то куда более старое.

Мы вышли из «Тушеной устрицы» вдвоём. Десять местных проводили нас взглядами. Бармен наконец моргнул — и, кажется, из солидарности выключил колонки сразу после нашего ухода. Уважение. Профессиональное.

Ночь была тёмная, поля — беззвучные, а я шла на шпильках через сельскую Англию рядом с главным врачом, который смотрел на меня с шеста и считал мой пульс, и думала одну-единственную непрофессиональную мысль:

амбивалентные чувства — это когда не знаешь, бесит он или нет.

А я знала.

Он не бесил. И это было самое страшное открытие за всю неделю, включая письмо с сургучом.

Крапива

Первые десять минут дороги я молчала.

Десять минут — это мой рекорд молчания при Дрейке. Обычно я выдерживаю четыре. Потом начинаю говорить факты.

На одиннадцатой минуте я свернула с дороги.

— Куда вы? — спросил Дрейк. Не остановился. Голос ровный, как у навигатора.

— Всё. Хватит. — Я стояла посреди поля в алом платье и на шпильках, и выглядела, подозреваю, как рекламная стойка посреди пшеницы. — У меня пятница. Законная. Мои друзья сейчас пьют в Осло нормальный алкоголь. А у меня — слушайте внимательно, я перечисляю — нет даже интернета. Нет нормальной связи. Нет паба с людьми, которые знают, кто я, а не кто мой прапрадед. И я трезвая.

— Вы выпили егермейстер.

— Одну рюмку! Стоявшую с восемьдесят шестого года! Это не алкоголь, это музейный экспонат, он трезвее меня!

— Технически верно, — сказал он.

— И теперь вы тащите меня через поля. Напрямки. В больницу. На дежурство, на которое я не подписывалась, хотя подписалась, пункт четырнадцатый, страница девять, я всё помню!

— Вы шли на шпильках по шоссе. Через милю каблук увязнет в обочине. Прямо — быстрее и суше. Это не тащить, это логистика.

— Это похищение! Вежливое похищение с маршрутной картой!

Он остановился. И посмотрел на меня — сверху вниз, через всё поле, через весь вечер, через весь мой шест и Tíga.

— Метте-Сольвейг. Вы злитесь не на поля.

— Знаю я, на что я злюсь.

— Скажите вслух. У вас громкая внутренняя речь, я слышал её уже дважды.

И вот тут я рассмеялась. Потому что другого выхода не было: смеяться или плакать, а тушь у меня стойкая, но не настолько.

— Хорошо! — сказала я полю, туману и одной светлячку, который, кажется, был единственным свидетелем. — Я злюсь на то, что мои друзья в Осло сидят в нашем пабе и пьют мой любимый эль. Без меня. Третью пятницу подряд. Я злюсь на то, что я — дипломированный кардиолог с красным дипломом — работаю в больнице, где половина препаратов из учебника истории медицины. Я злюсь на то, что мне двадцать шесть, я красивая, я танцую под Tíga так, что паб ахнул, а самое яркое событие моей недели — это перечницы с гипертонией и кошка, которую содержит пожилая пациентка с нарушением санитарных норм! И — да, докладываю по всем формам — я злюсь на главного врача, который пьёт чай в пабе восьмой год подряд, потому что «здесь тихо», смотрит на мой шест с неодобрением, считает мой пульс через одежду и не даёт мне ни одного ответа на вопросы, которые я задаю, вместо этого отвечая «знаю»!

Тишина. Поля. Светлячок обесточился от неловкости.

Дрейк молчал. Долго. Так долго, что я успела пожалеть обо всём — кроме того, что это правда, потому что отступать от правды я не умею, у меня с этим наследственное.

— Всё это так, — сказал он наконец.

— Что?

— Всё, что вы перечислили. Так. Кроме одного.

— Кого?

— Вы не трезвая. — Он наклонился и взял меня за локоть — аккуратно, двумя пальцами, как тогда сигарету. — Егермейстер восемьдесят шестого года содержит солод, кото-

рый в таком возрасте даёт отсроченное действие. Вы почувствуете это через двадцать минут. Поэтому идёте. Прямо.

— Это не ответ на мой монолог.

— Это отсрочка ответа. — Он посмотрел на мою шпильку, потом на меня. — Дайте руку. Поле после дождя. Я не тащу вас — я страхую. Это разные полномочия. Я уже объяснял вам про отворачивание.

— Отворачиванием вы занимаетесь в рамках санитарных норм. А сейчас?

— Сейчас я страхую кронпринцессу норвежскую от грязи в алом платье, — сказал он ровно, — потому что это платье стоит больше, чем мой годовой бюджет на чай.

— Откуда вы знаете, сколько стоит моё платье?

Он не ответил. Он посмотрел вперёд, на тёмный силуэт больницы с башенкой и часами, и повёл меня через поле — не быстро, не медленно, с той скоростью, с которой ходят люди, у которых есть время. Впервые за неделю у него было время.

А у меня, с каждым шагом, действительно становилось теплее в крови — солод восьмидесяти шестого года вставал по расписанию, как поезд по графику, и я злилась на него уже вдвойне: за то, что он знал это раньше меня, и за то, что был прав.

— Доктор Дрейк, — сказала я на середине поля, когда больница стала близко и в окнах замерцал тёплый янтарный свет.

— Да.

— Тот вопрос, который вы хотели задать. Если бы вышли из-за угла. Вы так и не задали.

— Нет.

— Почему?

Он шёл ещё несколько шагов. Молча. Потом сказал — не глядя, ровно, как прогноз погоды для пастухов:

— Потому что сегодня вы на него ответите неправильно. Вы слишком злы на Осло и слишком трезвы на Суфолк. Я подожду пятницу, когда вы будете злиться на меня, а не на весь остальной мир.

— А чем моя злая пятница на вас лучше?

— Тем, — сказал он и наконец посмотрел на меня, и свет из окон больницы упал на его лицо, — что на меня вы отвечаете честно.

И в этом, к невыносимому моему сожалению, тоже была логистика.

Он шёл через поле — и, о магия, его костюм был безукоризненно чистым.

Не пылинки. Не травинки. Тёмная ткань лежала так, будто он шёл не по сельской Англии после дождя, а по глянцевої обложке, где поле нарисовали специально и предварительно выстирали.

Я же выглядела иначе.

Платье стало пыльным — алое, до сих пор красивое, но с перспективой «проветрить и молиться». На колене лопнула колготка — с тем самым беззвучным щелчком, который слышен на всём графстве. И ровно там, где порвалась колготка, меня ужалила крапива.

Крапива. В двенадцатом часу ночи. В алом платье. Как будто у поля было мнение о моём наряде, и оно решило высказаться.

— Ай!

— Что? — Дрейк обернулся мгновенно. Не через секунду — мгновенно. У меня в голове тут же завёлся список, где я записала это «мгновенно» с пометкой «вернуться и разобраться».

— Крапива. В колготку. В колено.

— Покажите.

— Я не буду показывать вам колено посреди поля.

— Я врач, Метте-Сольвейг.

— Вы главный врач. Это разные дисциплины. Как отворачивание и страхование.

Он остановился. Посмотрел на меня сверху вниз — на пыльное платье, на порванную колготку, на шпильку, которой я теперь перемещалась не от бедра, а в технике «как не умереть», — и сказал:

— Крапива не опасна. Жжение пройдёт через час. Волоски с поверхности кожи удалить пластырем, если найдётся. Держите руку от колена — расчёсывание удлинит эффект вдвое.

— Вы сейчас диагностировали моё колено по звуку «ай»?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.